РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКАТУЛКА

РАССКАЗЫ РУССКИХ КЛАССИКОВ



Рождественская шкатулка. Рассказы русских классиков

Николай Васильевич Гоголь, Василий Васильевич Розанов, Федор Михайлович Достоевский, Василий Акимович Никифоров-Волгин, Антон Павлович Чехов, Михаил Михайлович Зощенко, Николай Семёнович Лесков, Александр Иванович Куприн

Аннотация
Рождественская шкатулка. Рассказы русских классиков
Н. В. Гоголь
  Ночь перед Рождеством
Н. С. Лесков
  Христос в гостях у мужика. Рождественский рассказ
  Пустоплясы. Святочный рассказ
  Под Рождество обидели. Житейские случаи
  Неразменный рубль. Рассказ
    Глава первая
    Глава вторая

Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Жемчужное ожерелье
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Ф. М. Достоевский
Мальчик у Христа на ёлке
I. Мальчик с ручкой
II. Мальчик у Христа на ёлке
А. И. Куприн
Тапёр
Ёлка в капельке
В. В. Розанов
В сочельник
В. А. Никифоров-Волгин
Серебряная метель
М. М. Зощенко
Ёлка
Святочная история

А. П. Чехов
Мальчики
Ванька
Ёлка
В. А. Никифоров-Волгин
Заутреня Святителей (Под Новый год)

Аннотация

Уникальный сборник собрал лучшие рождественские и новогодние рассказы величайших отечественных писателей: Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. И. Куприна, В. В. Розанова, М. М. Зощенко, А. П. Чехова, В. А. Никифорова-Волгина. В произведениях соединяются традиционное христианство и народный фольклор, Истории призывают нас к любви и милосердию, к тому, что если каждый поделится частичкой своего душевного тепла с другими, тогда может произойти Рождественское Чудо.

Подарите себе и близким праздничную атмосферу Рождества с помощью «Рождественской шкатулки»!

Рождественская шкатулка. Рассказы русских классиков



Серия «Христианские праздники. Подарочные издания»



Авторы:

Александр Куприн, Антон Чехов, В. А. Никифоров-Волгин, Василий Розанов, Михаил Зощенко,

Николай Гоголь, Николай Лесков, Федор Достоевский

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025



Н. В. Гоголь

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа [1]. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

---

[1] Примечания: 1

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остаётся дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасичника.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом чёрными смушками, с дьявольски сплетённою плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил её, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнёт. Он знает наперечёт, сколько у каждой бабы свинья мечет поросёнков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звёзды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре ещё блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал,

что это такое. Спереди совершенно немец [2]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем чёрт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдёрнул её назад, как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдёрнул руку. Однако ж,

---

[2] Примечания: 2

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — всё немец.

несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чём не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том всё село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашён дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всём селе, останется дома, а к дочке, наверное, придёт кузнец, силач и детина хоть куда, который чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим

живописцем во всём околотке. Сам ещё тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалёваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь ещё можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалёванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного Суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключённые прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал её на большой деревянной доске, чёрт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал

чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не лёгок на подъём, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Ещё при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафране, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нём ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только чёрт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашёл дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут чёрт, подъехавши мелким бесом, подхватил её под руку и пустился нашёптывать на ухо то самое, что обыкновенно нашёптывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Всё, что ни живёт в нём, всё силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а всё мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель

и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, всё лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть чёрта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, ещё не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом своё лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился…

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнёс кум и поднял свою голову также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

— То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.

— А что мне делать!

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Всё было видно, как днём. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго ещё ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита,

ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напоминала ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни весёлых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти тёмною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берёшь его?

— Кой чёрт, славный! — отвечал кум, закрывая берёзовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнёт!

— Я помню, — продолжал всё так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привёз табаку из

Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнёс кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дёргало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдём! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своём ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно всё равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица-дочка. Оксане не минуло ещё и семнадцати лет, как во всём почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про неё. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили, и была

капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чём-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими чёрными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве чёрные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздёрнутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои чёрные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные

змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отодвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у неё мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и ещё хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шёлком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Всё это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нём была видна, и сквозь суровость какая-то издёвка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска

досады тонко разливалась по лицу; и всё это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать её миллион раз — вот всё, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришёл сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, моё серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдёшь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шёлком, и тонкое чувство самодовольствия выра-

зилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнёс ободрённый кузнец и прижал её к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щёки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе ещё хочется? Ему когда мёд, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жёстче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с неё. И всё бы стоял перед нею, и век бы не сводил с неё очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у неё на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света;

а я её так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его всё засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и всё, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моём царстве, всё отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки.

Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чёрт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мёрзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смёрзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием,

с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Чёрт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын её Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула тёплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие годы. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степен-

ных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести её сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шёл ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною варенников и не поболтать в тёплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдёт ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх её синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал,

что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетёного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козёл взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось ещё каждый год две нивы табаку. Всё это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдёт в её руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын её Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверно, не допустил её мешаться ни во что, она прибегнула к обыкно-

венному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость её были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на весёлой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у неё сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она ещё в позапрошлый четверг чёрною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришёл какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лёг спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но всё это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слы-

шали такие речи. «Брешут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить всё к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принёс, пусть же сам и вынесет!» Чёрт между тем, когда ещё влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замёрзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперёд сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А чёрт улетел снова в трубу, в твёрдой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, чёрта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка ещё оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники

поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идём, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдёшь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дёрнет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдёшь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперёд и, наконец, набрёл прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл всё и, стряхнувши с себя снег, вошёл в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашёл дорогу; остановившись, принялся он кричать во всё горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около неё и на крыше. Хлопая намёрзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть её.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредёт кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришёл домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я всё понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнёс кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, ещё приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришёл вам на забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся к чёрту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принуждён слушаться приказаний кузнеца. Казалось, ка-

кой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнёс он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!

— Эге! да ты от слов не уймёшься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнёс он, немного отступая.

— Пошёл, пошёл! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнёс Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерёшься, и ещё больно дерёшься!

— Пошёл, пошёл! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойди! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколо-

тил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб чёрт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперёд всего перед глазами, то долго ещё можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почёсывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом

снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза ещё живее горят щёки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в

совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую весёлость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала весёлая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который всё тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесёшь те самые, которые носит царица.

— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесёт те самые черевики, которые носит царица, то вот моё слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, Бог с ней! будто только на всём свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат много хороших и без неё на селе. Да что Оксана? с неё никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Всё в нём волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шёл и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Чёрт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал её руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на всё: кинется в воду, а душу отпра-

вит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же чёрт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но всё пошло иначе: чёрт только что представил своё требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный чёрт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошёл к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в её хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошёл, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у неё и не испугался метели. Тут он подошёл к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами её обнажённой полной руки и произнёс с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнёс сердечно довольный своим началом дьяк и прошёлся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнёс он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив её слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошёлся по комнате, потирая руки.

— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послы-

шался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдёт до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради Бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки, глава трина… трин… Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объёмистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать ещё с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своём весёлую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-ни-

будь спрятала уже, а? — И, восхищённый таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замёрзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… эк окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга…

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнёс, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжёлый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе

сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошёл, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него всё то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли Бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок верёвка, и дюжий голова начал

было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а всё думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой чёрт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено ещё что-нибудь, кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне всё кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углём не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, чёрт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних

деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во всё горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и ещё белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нём вздрогнули: бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во всё горло, побрёл он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит чёрными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеётся. Но она всегда смеётся». Как будто невольно, сам не понимая как, протёрся кузнец сквозь толпу и стал около неё.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнёс он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Её взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжёт, так и жжёт… Нет, невмочь уже пересi-

лить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошёл он вперёд, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твёрдым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивлённою, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Всё добро, какое найдётся в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала

проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть дух. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже всё пропало. Попробую ещё средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и всё сделает, что захочет. Пойду, ведь душе всё же придётся пропадать!»

При этом чёрт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвёл сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он,

были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нём нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами

галушки.

«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — ещё ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Я к твоей милости пришёл, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни чёрту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился всё ещё напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с миской, пошлёт ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободрённый кузнец решился продолжать:

— К тебе пришёл, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность ещё в Полтаве, когда размалёвывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого чёрта. Что ж, Пацюк? — произнёс кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?

— Когда нужно чёрта, то и ступай к чёрту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришёл к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

— Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого чёрт за плечами, — произнёс равнодушно Пацюк, не

изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и ещё сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что

вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему ещё, пусть растолкует хорошенько… Однако что за чёрт! ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж чёрт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но чёрт, наклонив своё собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, всё сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Чёрт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут чёрт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде всё хвостатое племя, как будет беситься хромой чёрт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал чёрт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать чёрта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, чёрт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сём слове

он сотворил крест, и чёрт сделался так тих, как ягнёнок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал чёрт, — всё, что для тебя нужно, всё сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнёс печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри её что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть её первою красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни

за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдёт минут десять, как он, верно, придёт поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

— Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счёту нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезём на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы ещё не было народу, то, может быть, он нашёл бы средство вылезти; но вылезть из мешка при всех, показать

себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть уж лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придёт какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрёл на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на доро-

ге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в шмак: жидовка за каждую паляницу даёт осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжёл. — Нет, одному будет тяжело нести, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идёт ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идёшь?

— А так, иду, куда ноги идут.

— Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесём его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает ещё, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесём его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава Богу, мы не совсем ещё без ума, — сказал кум, — чёрт ли бы принёс меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведённый приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнёс ткач, спустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и её муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал

палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Всё, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал её пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно; кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый чёрт тебе покажет, а не мы, — сказал,

приосанясь, кум.

— Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили её попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили её? — сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почёсывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, — та ничего… не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза её, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула

она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А всё ты виноват!

— Что ж делать! — произнёс, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чёртова баба! это не твоё добро! — говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

— Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.

— А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы

небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит ещё что-то, — если не кабан, то, наверно, поросёнок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой ещё! — вскрикнул со страхом ткач, — чёрт знает как стало на свете… голова идёт кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк! — произнёс изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у неё полная хата мешков… Теперь я всё знаю: у неё в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и

взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шаля, садились на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить всё. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во всё время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во всё горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за чёрт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посреди дороги, — сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отечеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущён и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дёгтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дёгтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет са-

поги! — произнёс Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чёртова баба! А я дурак… да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там ещё один сидит! встряхните его хорошенько… Что, нет? Вишь, проклятая баба! А поглядеть на неё — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чёртом. Его забавляло до крайности, как чёрт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а чёрт, думая, что его собираются крестить, летел ещё быстрее. Всё было светло в вышине. Воздух

в лёгком серебряном тумане был прозрачен. Всё было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронёсся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звёзды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце чёрт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма… много ещё дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало своё; кузнец всё летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Чёрт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырёхэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырёх сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и

огромные тени их мелькали по стенам, досягая головой труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдёт по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стёклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, ещё и больше». Его слова прерваны были вопросом чёрта: «Прямо ли ехать к царице?» — «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; всё бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Чёрт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошёл, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного

ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шёлковых диванах, поджав под себя намазанные дёгтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принёс?

— А так, захотелось поглядеть, говорят…

— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнёс запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырёхлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицею толковать про своё.

— Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо чёрту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмём его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмём! — произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зелёный жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понёсся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырёхэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днём не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещённую лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой чёрт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец всё ещё не переставал удивляться. Вступивши в четвёртую, он невольно подошёл к висевшей на стене

картине. Это была Пречистая Дева с Младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а Дитя Святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! Боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, всё ярь да бакан: а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведён был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — ещё большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»

Может быть, долго ещё бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли ещё две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошёл в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в жёлтых сапожках. Волосы на нём были растрёпаны, один глаз

немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величественность, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошёл к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

— Та вси, батько! — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потёмкин, — отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один

блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе с тем приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрём, а не встанем! — кричали запорожцы.

Потёмкин кусал себе губы, наконец подошёл сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе всё и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор ещё не видела, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.

— Та спасиби, мамо! Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..

Потёмкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чём-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь поворотить в карабинеры; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потёмкин молчал и небрежно чистил небольшою щёточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг пова-

лился на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потёмкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошёл.

— Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере,

Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

— Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и всё честное христианство, до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жён, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жён в Польше; есть такие, что имеют жён в Украйне; есть такие, что имеют жён и в Турецине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское

величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше благородие, ходите и на лёд ковзаться, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своём запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всём: правда ли, что цари едят один только мёд да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-ни-

будь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! Вишь, чем стала попрекать? — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врёшь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с

фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше всё слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, ещё сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было

подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрёл в свою хату.

Оксана смутилась, когда до неё дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушёл с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдётся такой молодец, как кузнец! Он же так любил её! Он долее всех выносил её капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от неё самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чём не думать — и всё думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить её.

Настало утро. Вся церковь ещё до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно

крестились у самого входа церковного. Дворянки в зелёных и жёлтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться ещё ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у неё столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо её выражало одно только сильное смущение; слёзы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что

праздник — как будто не праздник; что как будто всё чего-то недостаёт. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?

Ещё быстрее в остальное время ночи нёсся чёрт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать чёрта, — постой, приятель, ещё не всё: я ещё не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный чёрт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошёл в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и

обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнёт бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха ещё не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которой не надевал ещё ни разу с того времени, как купил её ещё в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил всё это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошёл к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щёголем и запорожцем. Но ещё больше изумился он, когда

Вакула развязал платок и положил перед ним новёхонькую шапку и пояс, какого не видано было на всём селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всём каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб ещё больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем всё, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

— Добре! присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением

и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принёс черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков… — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошёл ближе, взял её за руку; красавица и очи потупила. Ещё никогда не была она так чудно хороша. Восхищённый кузнец тихо поцеловал её, и лицо её пуще загорелось, и она стала ещё лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалёванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками

в зубах.

Но ещё больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зелёною краскою с красными цветами. Это, однако ж, не всё: на стене сбоку, как войдёшь в церковь, намалевал Вакула чёрта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалёвана!» — и дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Н. С. Лесков

Христос в гостях у мужика
Рождественский рассказ

Посвящается христианским детям

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, — я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и передам его же словами.

* * *

Наше место поселённое, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время из России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую [3]. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про

---

[3] Примечания: 3
То есть герой принадлежит к староверам.

которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было.

Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение — об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство, да и растратил, или взял, почти всё его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца совершился — Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью ещё жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он всё книги читал, и самые божественные. Наконец

мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.

* * *

Родители мои попервоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрён казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришёл. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, — весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки — гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его

Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего ещё надо? Кажется, всё прошлое горе позабыть можно, но он, однако, всё-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоём в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:

— Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?

— В каком, — спрашивает, — это смысле?

— Имеешь ли всё то, чего в своём месте лишился?

А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился.

— Ты, — говорю, — брат, меня прости, что я так спросил… Я думал, что лихое давно… минуло и позабылось.

— Нужды нет, — отвечает, — что оно давно… минуло — оно минуло, да всё-таки помнится…

Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в та-

ком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всём его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит… Он это заметил и говорит:

— Что ты теперь думаешь?

— А так, — говорю, — думаю что попало.

— Нет: ты это обо мне думаешь.

— И о тебе думаю.

— Что же ты обо мне, как понимаешь?

— Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твоё гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает:

— Ты святое слово проводить не сведущ.

— Это, — говорю, — твоя правда, я не сведущ.

— Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть.

Я и в этом на его сдание [4] согласился, а он стал

---

[4] Примечания: 4
Сдание — ответ, возражение.

говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, — и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

— Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, — говорит, — как другу моему откроюсь.

Я говорю:

— Если это тебе может стать на пользу — откройся.

И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свёл горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.

— Разве, — говорит, — всё это можно простить? Я его в жизнь не прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили

[5] и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать.

А я по простоте своей ответил ему просто.

— Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и всё знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не всё разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете всё ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом — яснее стоит. Там надо всем блистает. «Возлюби, да прости» [6], и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чём же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине?

Он молчит.

Тогда я положил в уме: «Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше сему, а не отомстительному обычаю.

А он пошёл приводить большие толкования,

---

[5] Примечания: 5
См.: Деян. 2:23.

[6] Примечания: 6
См.: Мф. 5:44.

как кто писал, что иное простить якобы всё равно что зло приумножить.

Я на это упровергать не мог, но сказал только:

— Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят» [7]. Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь — зло живо, — а пусть оно умрёт, тогда и душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:

— Не могу, оставь — мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло ещё шесть лет, и во всё это время я за ним наблюдал и видел, что всё он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, — забудет он всё Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своём я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасёт Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

---

[7] Примечания: 7

Цитата из Библии в древнерусском переводе (Еккл. 12:12).

* * *

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трёх детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Всё место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился.

Таким точно порядком пришёл он раз сюда и взял с собою Евангелие. Поогляделся розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришёл в гости к фарисею [8] и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошёлся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало,

---

[8] Примечания: 8
См.: Лк. 7:36,44.

о котором Тимоша мне так говорил:

— Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении… И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и всё вокруг меня стало розовое, даже самые мои слёзы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б ты ко мне пришёл — я бы тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:

— Приду!

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:

— Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

— Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании?

А Тимофей говорит:

В Писании есть: «Всё тот же Христос ныне и вовеки» [9], — я не смею не верить.

— Что же, — говорю, — и верь.

---

[9] Примечания: 9
Евангелие. Послание к евреям святого апостола Павла.

— Я велю что день на столе ему прибор ставить.

Я плечами пожал и отвечаю:

— Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?

— Сказано, — говорит, — «сей грешники приемлет и с мытарями ест» [10].

— А и то, — отвечаю, — сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы ты взошёл в дом мой» [11]. Мне и это нравится.

Тимофей говорит:

— Ты не знаешь.

— Хорошо, будь по-твоему.

* * *

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек — он, да жена, да трое ребятишек, — всегда у них шестое место в конце стола почётное, и перед ним большое кресло.

---

[10] Примечания: 10
См.: Мф. 9:11, Мк. 2: 16, Лк. 5:30.

[11] Примечания: 11
Мф. 8:8.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не всё открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье — но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и ещё были его ожидания: на всякий праздник Тимофей всё ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь своё обещание сдержит — придёт. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, говорит, я молю: “Ей, гряди, Господи!” — и ожидаю, но не слышу желанного ответа: “Ей, гряду скоро!” [12]

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

* * *

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник

---

[12] Примечания: 12
Откр. 22:20.

и говорит:

— Брат любезный, завтра я дождусь Господа.

Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил:

— Какое же ты имеешь в этом уверение?

— Ныне, — отвечает, — только я помолил: «Ей, гряди, Господи!» — как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра его святое Рождество — и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

— Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чём этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек — мы к тебе придём. А ты если уповательно ждёшь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество.

— Понимаю, — отвечает, — и сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти сёла и звать всех ссыльных — кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость — пожалует, так встретит всё по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.

— Тимофей, — говорю, — кто может учредить всё по заповеди? Одно не разумеешь, другое за-

будешь, а третье исполнить не можешь. Однако если всё это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придёт, он всё, чего недостанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам приведёт.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест — и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые ещё с прибытия не оправились на своём хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.

Одного только гостя нет и нет — который всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать, да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло,

и все мы ждём в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Всё упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».

Прошла ещё минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:

— Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб его встретить. Будь о всём воля Божия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю:

— Читай молитву.

Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите [13], Христос на земли…»

И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже всё зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.

---

[13] Примечания: 13
Срящите — встречайте.

* * *

Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, — неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперёд в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнём — такая, как на беседе Никодима пишется… Ветер с вьюгой с надворья рвёт, а огня не колышет… И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это, вскричал:

— Господи! Вижду и приму его во имя твоё, а ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. — Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух:

— Вонмем [14]: Христос среди нас!

А все отвечали:

— Аминь, — то есть истинно.

* * *

Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать — только один старик остался.

Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был враг Тимофея — дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что всё у него прошло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моём месте и поешь из моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:

— Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Гос-

---

[14] Примечания: 14

Вонмем — слушайте (буквально: восслушаем).

подь, который сказал: «Аще алчет враг твой — ухлеби его, аще жаждет — напой его» [15]. Сядь у меня на первом месте — ешь и пей во славу его, и будь в дому моём во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своём.

* * *

Так научен был мужик устроить в сердце своём ясли для рождённого на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас» [16]. Христос придёт в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель.

Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

1881

---

[15] Примечания: 15

Рим. 12:20.

[16] Примечания: 16

Из заповедей Христа, обращенных к апостолам и народу Иудеи (Мф. 5:44, Лк. 6:27).

Пустоплясы
Святочный рассказ

На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди и конные, и пешие, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студёно, и все, с надворья входя, лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до «судьбы божества». Стали говорить — отчего это Бог Иосифу за семь лет открыл, что в Египте «неурожай сойдёт»; а вот теперь так не делает: теперь живут люди и беды над собою не ожидают, а она тут и вот она! И начали говорить об этом всякий по-своему, но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял; он так сказал:

— А вы думаете, что, если бы нам было явлено, когда беда придёт, так разве бы мы отвели беду?

— А разумеется.

— Ну, напрасно! Мало что ли у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не отводим.

— А что, например?

— Да вот, например, чего ещё ясней того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя; а ведь вот про это никто и не думает.

— Вот то-то и есть! А если б предвещение об этом было — небось бы поправились.

А тот с печи отвечает:

— Ничего б не поправились: не в предвещении дело, а в хорошем разуме. А разума-то и не слушают; ну а как предвещения придут, так они не обрадуют.

Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения; и он начал сразу сказывать.

— Я ведь уже старик, мне седьмой десяток идёт. Первый большой голод я помню за шесть лет перед тем, как наши на венгра шли, и вышла тогда у нас в селе удивительность.

Тут его перебили излишним вопросом: откуда он?

Рассказчик быстро, но нехотя оторвал:

— Из села Пустоплясова. Знаешь, что ль?

— И не слышали.

— Ну, так услышишь, чту у нас в Пустоплясах случилось-то; смотри, чтобы и у вас в своём селе чего-нибудь на такой манер не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вам: моя сказка не длинная.

Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило, а у нас поле както так островком вышло задачное, — урожай Бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим: слава тебе, Господи! А что нам от соседей теснота придёт, о том понимать не хочем. А соседи нам все завидуют; так и говорят про нас: «Божьи любимчики: мы у Господа в наказании, а вы в милости». «И каким де вы святителям молились и которым чудотворцам обещались?» А наши уж и чванятся, что в самом деле они в любови у Господа: убираем, жнём, копны домой возим и снопы на овины сажаем да на токах молотим… Такая трескотня идёт, что люба-два! И сейчас после этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попам новины, наварили бражки, а потом мужики норовят винца попить, а бабы с утра затевают: «аль натирушков натирить! аль лепёшечек спечь!» И едим да пьём

во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг мякиною и жмыхом давятся, а мы в утеху себе говорим: ведь мы не причинны в том, что у других голодно. Мы ведь им вреда на полях не делали и даже вместе с ними по весне на полях молитвовали, а вот нашу молитву Господь услыхал и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Всё в его воле: Господь праведен; а мы своих соседов не покидаем и перед ними не горжаемся: мы им помогаем кусочками. А соседи-то к нам и взаправду повадились кажиден да и бесперечь, и всё идут да идут и что дальше, то больше, и стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не токмо не кажись на улице, а и в избе-то стало посидеть нельзя, потому что слышно, как всё тянут голодные свою скорбинку: «б-о-ж-ь-и л-ю-б-и-м-ч-и-к-и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, раз дашь, и два дашь, а потом уж дальше постучишь в окно да скажешь: «Бог подаст, милые! Не прогневайся!» Что же делать-то! Хорошо, что мы «божьи любимчики», а им хоть и пять ковриг изрежь, их всё равно не накормишь всех! А когда отошлёшь его от окошка — другая беда: самому стыдно делается себе хлеб резать… То есть ясно, как не надо яснее, Господь тебе в сердце кладёт, что надо не отсылать, а надо

иначе сделать, а пока чего должно не сделаешь — нельзя и надеяться жить во спокойствии.

И надо бы, кажется, это понять, а вот, однако, не поняли; тогда и провозвестник пришёл — его прогнали.

Тут по избе шепотком пронеслось:

— Слушайте, братцы, слушайте!

Запечный гость продолжал:

— Так доняли нас голодные соседи, что нам совсем стало жить нельзя, а как помочь беде — не ведаем. А у нас лесник был Федос Иванов, большой грамотник, и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить:

— А ведь это нехорошо, братцы, что мы живём как бесчувственные! Что ни суди, а живём мы все при жестокости: бедственным людям норовим корочку бросить, — нечто это добродетель есть? — а сами для себя всё ведь с затеями: то лепёшечек нам, то натирушков. Ах, не так-то совсем бы надо по-божьи жить! Ах, по-божьи-то надо бы нам жить теперь в строгости, чтобы себе как можно меньше известь, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, лёгкость бы в душе осветилася, а то прямо сказать — продыханья нет! В безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить — такое предстанет

терзательство, что не знаешь, где легче мучиться, и готов молить: убей меня, Господи, от разу!

Федос, говорю, начитавшись был и брал ото всего к размышлению человечнему, как, то есть, что человеку показано… в обчестве… То есть, как вот один перст болит — и всё тело неспокойно. Но не нравилось это Федосово слово игрунам и забавникам во всем Пустоплясове; он, бывало, говорит:

— Вы, почкенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитеся: мои слова — это не сам я выдумал, а от другого взял; сами думайте: эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают, — они сеют зависть и тем суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать — не вино пить да лепёшкой закусывать.

Старики за это на Федоса кривилися, а молодые ему стрекотали в ответ:

— Чего ты тут, дядя Федос, очень развякался! Что ты поп, что ли, какой непостриженный! Нам и поп таких речей не уставливал. Если нам Бог милость сослал, что нам есть что есть, то отчего нам и не радоваться? Пьём-едим тоже ведь все

в славу божию: съедим и запьём и отойдём — перекрестимся: слава-те, Господи! А тебе-то что надобно?

Федос не сердился, а только знал, что ответить.

— Несмысленные! Что тут за слава? Никакой славы нет, что вы будете лепёшки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся! А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у него в послушании… Ведь его же есть слово к нам: «Пусть знают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою!»

Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка, — одна только она у него и осталась от всего поколения, и он с нею с одною и жил в избе, а была она с ним несогласная: такая-то была вертеница и Федоса не слушалась, и даже озорничала с ним.

— Ты, — бывало, скажет, — очень уж стар стал, так вот и пужаешь всех и нет совсем при тебе никакой весёлости. Чего ты пристаёшь ко всем: «Бог» да «Бог»! Это мы и в церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо весёлого!

Он ей, бывало, скажет:

— Эй, нехорошо, Мавра! Бога надо постоянно видеть перед собою, на всех местах ходящего и

к тебе понятно глаголющего, что тебе хорошо, а чего ненадобе. — А девка на эти слова от себя зачастит, зачастит и всякий раз кончит тем, что:

— Ты простой мужик, а не поп, и я не хочу тебя слушаться!

А он ей:

— Я простой мужик — я в попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только моё слово: оно ведь идёт на добро и от жалости.

А внучка отвечает:

— Ну, ладно: в молодом-то веку не до жалости; в молодом веку надо счастье попробовать.

А Федос ей и сказал:

— Ну, что делать — испробуешь, только ведь не насытишься.

И так, где, бывало, с дедом Федосом люди ни сойдутся — сейчас все против него; а он всё толкует, что надо жить в тихости, без шума и грохота, да только никак с людьми не столкуется и с Мавруткою к празднику нелады у него по домашеству; пристаёт она:

— Дай, дедко, мучицы просеять, спечь лепёшечек!

А он этого не хочет, говорит:

— Ешь решотный хлеб, от других не отличай себя.

Мавра и злится:

— Нас, — говорит, — Бог отличил, а ты морить хочешь!

Федос отвечает:

— Эх, глупая! Ещё неведомо, для чего вы отличены; может быть, и не для радости, а в поучение.

И когда раз один Маврутка так на Федоса рассердилась, так взяла, да и сказала ему:

— Не дай Бог с тобой долго жить, хоть бы помер ты.

Но Федос и тут не рассердился.

— Что же такое!.. Ничего!! погоди, вот скоро похороните; может быть, потом поминать станете.

А молодые-то — и расхохоталися:

— Ещё, мол, чего! Тебя, старого ворчуна, вспоминать будем!

Да и старички-то, которых звал он «почкенные», не на его стороне становилися, а тоже, бывало, говорят:

— Что он презвышается — лучше всех хочет быть во всём в Пустоплясове! Довольно знаем мы все его: вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли — чего великатится!

Молодые это слышать и рады, и иной озорной подойдёт к нему и говорит:

— Дед Федос!

— А что тако?

— А вон что про тебя старики-то сказывают!

— Да! Ну-ка, давай, послухаем.

— Говорят… будто ты… Стыдно сказывать!

— Ну что?.. ну что? Не тебе это стыдно-то!

— Когда молодой-то был…

— У, был пакостник!.. Школы нам, братцы, не было! Бойло было, а школы не было.

— Говорят, ты солдатке в половень гостинцы носил!

— Да и хуже того, братцы мои, делывал. Слава Богу, многое уже позабылося… Видно, Бог простил, а вот… людям-то всё ещё помнится. Не живите, братцы, как я прожил, живите по-лучшему: чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего.

А мы, раз от раза больше всё ошибаючись, попали, братцы, перед святками в такое бесстыжество, что мало нам стало натирухов да лепёшек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя от своих стариков, нарядиться как можно чуднее, медведями да чертями, а девки — цыганками, и махнуть за реку на постоялый двор шутки шутить. А Федос как-то узнал про это и пошёл ворчать:

— Ах вы, — говорит, — бесстыжие! Это вы мимо

голодных-то, дразнить их пойдёте, что ли, с песнями? Слушай, Мавра! Нет тебе моего позволения!

Мы все её у Федоса отпрашиваем:

— Пусти, мол, её, Федос Иванович, что тебе её век томить!

А он отвечает:

— Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, чтобы не пустить человека из себя дурака строить!

— Ну, да ты, мол, уж всегда такой: ото всех всё премудрости требуешь!

— Не премудрости, — говорит, — а требую, что Господь велит, — на ближние разумения: ближний в скорбях, а ты не попрыгивай.

— Да разве ближнему-то хуже от этого?

— А разумеется, — не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума.

— Ну, вот, мол, ты опять всё про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молод был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочие.

— Ну, и что же такое, — отвечает дед Федос. — Я ведь уже не раз сознавался вам, что в молодых годах я много худого делал, так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе! Эх, неразумные! С пьяным-то, чай, ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда

выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повыспался. А если бы я был человек не грешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер: я бы вам, может, прямо сказал: Бог это вам запрещает, и может за это придти на вас наказание!

Тут за это слово все на Федоса поднялись.

— Нет, нет! — закричали: — что ты, как ворон, всё каркаешь! Это всё ты сам повыдумывал! Веселье и в церквах поминается. Давыд-царь и играл, и плясал, и на свадьбе-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй — это нам не запретное. Если бы похотел Господь, чтобы поворотить народ на другой путь, он бы не тебя послал, а особого посла-благовестника.

Федос им желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает Бог, а что слово Господне — духовное и через кого оно доходит, через того всё равно и засеменяется: кто в божьих смыслах говорит, того и послушайся, а нарочных послов не жди. Нарочный-то, бывает, так придёт, что и не поймёшь его.

Ну, а всё же хоть и все с дедом спорили, а в открытость супротив его делать стыдилися, потому что — когда вспомянется нам то, что старики про половень говорили, мы Федоса будто и не уважа-

ем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те «почкенные»-то всё ещё вокруг половня ходят — нам Федоса и совестно. Грешник-то он, правда, что грешник был, да ведь он отстоялся уж и повернул себя на хорошее! Своё-то нам справить хочется, а его всё-таки стыдно. И стали мы с своими намерениями крыться и сделали уговор вечером на Рождествин день собираться все в ригу и ждать друг дружку в угле, в колосе, а потом идти всей гурьбой переряженными к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует: быка залобанили, трёх свиней зарезали и две бочки браги наварено. Пойдём, мол, налопаемся, а на обратном пути девки пусть себе где знают хоронятся.

Такие зашли затеи хорошие!

Пошли у нас хлопоты: разные мы одёжи припасаем да прячем в потайных местах. Боимся только, чтобы не подсмотрели за нами соседи неимущие да наши похоронки не украли бы.

Мы им до сочельника все подавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им:

— Слушайте, вы, неимущие! Вы чтобы завтра не сметь приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть. Завтра нам не до вас. Обходитесь как

знаете.

Маврутка захотела свои уборы вынесть в ригу, когда дед Федос в лес пойдёт, и вот, когда всё, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице, видит, — метель и сиверка, так что дышать трудно. Маврутка думает: «Дай скорей сомчу, а то дед воротится!» И только что отворила дверь, как сдушило её сиверкой, а перед самым её лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит, и какое-то будто особенное: облик нежный, а одёжи на нём только одна рваная свиточка и в той на обоих плечах дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да в соломку завёрнуты и тут же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.

— Чего тебе! — говорит, — для чего в такой день пришёл! Ишь ты, нет на вас пропасти!

А дитя стоит и на неё большими очами смотрит.

Девка говорит:

— Что же ты бельма выпучил! Прочь пошёл!

А он и ещё стоит.

Маврутка его поворотила и сунула:

— Пошёл в болото!

А сама побежала, и никакого ей беспокоя на

душе не было, потому что ведь сказано всем им было, чтобы не ходить в этот день — чего же таскается!

Прибежала Мавра в ригу да прямо в дальний угол и там в сухом колосе всё своё убранье и закопала, а когда восклонилася, чтобы назад идти, — видит, что этот лупоглазый ребёнок в воротах стоит.

Маврутка на него опалилася.

— Ты, шелудивый, — говорит, — подслежаешь меня, чтобы скрасть моё доброе! Так я отучу тебя! — Да и швырнула в него тяжёлый цеп, а цеп-то такой был, что дитя убить сразу мог, да Бог дал — она промахнулася, и с того ещё больше осердилась, и погналася за ним. А он не то за угол забежал, не то со страху в какой-нибудь овин нырнул, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспешает, чтобы придти прежде, чем дед Федос воротится из лесу, а на самое на неё стал страх нападать, будто как какая-то беда впереди её стоит или позади вслед за ней гонится.

И всё чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается, а тут ещё видит, что у них на заваленке будто кто-то сидит…

Маврутка вдруг стала смотреть: что это? неужели опять лупоглазый там?..

Девка-ровечница с ведром шла и спрашивает:

— Что у тебя нога, что ли, подвихнулася?

А Маврутка машет ей и говорит:

— Послушай-ка, что тебе нашу избу видно?

Та отвечает:

— Видно.

— А что это такое там у нас под окном на заваленке?

— Это твой дед Федос сидит…

— У тебя, может быть, курья слепота в глазах?

— Чего ещё! Ярко его вижу, вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит. Тяжело его удушье бьёт.

— А ребёнка лупоглазого не видишь там?

— Лупоглазое дитя-то ноне по всему селу ходило, а теперь его нетути…

А Маврутка ей говорит, что она сейчас лупоглазое дитя видела и что он подсмотрел, где она свой убор закопала.

— Теперь, — говорит, — то и думаю, что он, стылый, откопает, да и выкрадет.

— Пойди перепрячь скорей!

— И то сбегаю!

А сама чует, что теперь уже ей в риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять не в лад сделала, так что он сказал ей:

— Ты, должно быть, задумала что-нибудь на своём поставить. Смотри, беды б не вышло!

Она отвечает:

— Не удержишь меня!

— Чего силом держать… и ненадобно… А тебе, слышь, чего же там понравилось?.. Назад-то пойдёте, ребята чтоб вас не обидели.

— Закаркал, закаркал опять! Никого не боимся мы, а там праздник как следует, — там били бычка и трёх свиней, и с солодом брага варена…

— Вона что наготовлено исступления! И пьяно, и убоисто…

— А тебе и свиней-то жаль!

— Воробья-то мне и того-то жаль, и о его-то головёнке ведь есть вышнее усмотрение…

— О воробьиной головке-то!

— Да.

— Усмотрение!

— Да!

— Тьфу!

Мавра в раскат громко плюнула.

Дед сказал:

— Чего ж плюёшься?

— На слова твои плюнула.

— На мои-то наплюй, — не груби только Хозяину.

— Он мне и ненадобен.

— Вона как!

— Разумеется!.. Пусть его нелюбым коням гривы мнёт.

— Что городишь-то, неразумная! Я тебе говорю про Того, Кому мы все работать должны.

— Ну, а я не разумею и не хочу.

— Что это? — работать-то?

— Да.

— Поработаешь. Не все ведь вольною волей работают, — другие неволею. И ты поработаешь.

Мавра через гнев просмеялася и говорит:

— Полно тебе, дед! В самом деле, видно, правда, что ты с ума сошёл!

А дед посмотрел и ответил ей:

— Господь с тобой, умная! — и сам на печь полез, а она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в ригу свой наряд перепрятывать.

А в риге-то уже темно, и страх на неё тут так и налетел со всех сторон вместе с ужастью: так её и за плечо берёт, и ноги ей путает. Думает: «дай скорей огонь зажгу — смелей станет». Чиркнула спичкою раз и два — что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой — другая, — точ-

но не хотят допустить её!

И видит она, что это ей не кажется, а взаправду есть: откуда-то слетели воробушки и пали на колос в свет и сидят-глядят на неё натопорщившись…

«Давай скорее выхвачу, да и убегу», — думает Мавра и стала скорей руками колос разворашивать, а там под рукой у неё что-то двигнулось и закопалося… Она — цап посильней, а ей откуда ни спади ещё воробей, и трепещется, и чирикает… «Тьфу, мол, что тебе надобно? Проклятый ты!» Взяла его, да и сорвала ему головёночку, а сама не заметила, как с сердцем в злости фонарь бросила и от него враз солома вся всполыхнула; а оттудова-то, из кучи-то — что вы скажете! — восстаёт оное дитя лупоглазое и на челушке у него росит кровь.

Тут уж Мавра забыла всё и бросилась бежать, а огонь потёк с бурею в повсеместности и истлил за единый час всё, чем мы жили и куражились…

И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, потому что не только у нас весь хлеб погорел, а и жить-то не в чем было, и пошли мы все к своим нищим проситься пожить у них до тёплых дней.

А дед-то Федос на пожаре опёкся весь и вставать

не стал; ну, а всё ладил в ту же стать и говорил другим с утешением:

— Ничего, — говорит, — хорошо всё от Господа посылается. Вот как жили мы в Божьих в любимчиках — совсем было мы позабылись, — хотели всё справлять свои дурости, а теперь Господь опять нас наставит на лучшее.

Так и помер с тем — с этой верой-то!

А какое это было дитя, и откудова, и куда оно в пожар делося — так никогда потом и не дознались, а только стали говорить, будто это был ангел и за нечувствительность нашу к нему мы будто были наказаны.

— Всё равно, — говорил Федос, — кто бы ни был он, — бедное дитя всегда «божий посол»: через него Господь наше сердце пробует… Вы все стерегитеся, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться!

Впервые опубликовано — журнал «Северный вестник», 1892

Под Рождество обидели
Житейские случаи

На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чём будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого — человека, которого знает множество людей в Петербурге, — под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнёсся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.

Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, — это всё равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнёсся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не

бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одного. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся — какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскучается слуга от нечего делать и начнёт придираться и ссориться и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрёт квартирную дверь, возьмёт ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться и, как я говорю, — много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида.

Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти

всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьёю над ворами и вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самою крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра — и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон — всего набито от потолка до самого до полу… Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку.

Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:

— Я хорошее средство придумал: у тебя есть

сынишка пяти годов — он ещё маленький, и тельцем мягок, — он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмём — мы с ним можем всё это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество — скажи, что пойдёшь помолиться к заутрене, да и пойдём все вместе действовать. А как придём, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плечи станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опоясшем крепко верёвкою и дадим ему скрытный фонарь с огнём, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает всё самое лучшее и в петлю на верёвку завязывает,а мы станем таскать, да всё и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется — мы и его назад вытащим и поделим всё на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусочек, — пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится.

Отец-то вор — хорош, видно, был — не отказался от этого, а согласился; и как пришёл вечер сочельника, он и говорит жене:

— Я ноне пообщался сходить в монастырь ко

всенощной — там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму — пусть хорошее пение послушает.

Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела, и целовальник стал на засов кабак запирать, — они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребёнка с собой повели, да всё, что затевали, то всё сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышлёный и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они всё вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят — им втроём уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:

— Довольно, братцы, — нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался верёвкою, и потянем его вон наружу. верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:

— Довольно брать, больше не надобно… Теперь сам себя крепче подпояшь да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.

Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг, — чего они впотьмах не заметили, — верёвка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры от этой неожиданности, потерявши равновесие, и сами попадали… Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай… Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалося время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутёк, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.

Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чём дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти всё вытащенное хозяйское добро

в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой… И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилося, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека как курицу. У нас в городе воры учёные, — шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной вроде щипцов с петелькою, — называлась «кобылкою». (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был — умный, добрый и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:

— Оставьте, не надобно. Чего ещё! Всё моё добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.

А молодцы говорят:

— То и есть правда: нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил. Это перст видимый: по нём всё укажется, каких он родителей, — тогда всё и объявится.

А купец говорит:

— Нет, не так: дитя — молодая душа неповин-

ная, он не добром в соблазн введён — его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя — Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой… познобившись весь, да и трясётся, испуганный. Не надо его ни о чём расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика… Бог с ним со всем, что у меня пропало, они меня совсем ещё не обидели, а это дитя ко мне Бог привёл, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.

И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как своё дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:

— Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать. Это ведь дело сурьёзное, особливо как

мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдёт со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.

Жена отвечает:

— Это правда, так всегда уже водится.

— То-то и есть, — говорит купец, — ещё навернётся какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку как ясочку, и будем потом и себя корить, и её жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.

— Как же так? — говорит жена.

— А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приёмышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь — что греха таить — вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.

Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые всё жили и тоже детей нажили и сами тоже состарились. А жили всё в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приёмышу, тогда уже старику, — сесть с присяжными, и начали при нём в самый первый случай судить

вора. Он и затрепетал и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слёзы, а из старой груди на весь зал раздалися рыдания. Председатель суда спрашивает:

— Скажите, что с вами?

А он отвечает:

— Отпустите меня, я не могу людей судить.

— Почему? — говорят, — это круговой закон: правым должно судить виноватого.

А он отвечает:

— А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать.

Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на верёвке в кладовую спускался и пойман был и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло и никого во всём городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлою неосуждёною виною, — все к нему относились с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал.

Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные

и добрые души.

— Утешаться надо, — говорю, — что такое добро в людях есть.

— Да, — отвечает приятель, — хорошо утешаться, а ещё лучше того — надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.

Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилося, что разве как только в театральных представлениях всё кстати случается. Приходит ко мне мой приятель и говорит:

— Дело сделано.

— Какое?

— У меня неприятности.

Думаю: верно что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.

— Нет, — говорит, — неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась… Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит и всё высыпано… золотая цепочка валяется и ещё кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны

и билет на могилу рядом с матерью…

Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления.

— Что это?

Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение. Точно на экзамен его вызвали. Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, — так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий? Присел я молча и спрашиваю:

— Что же вы сделали?

— Да ничего, — отвечает, — покуда ещё не сделал, да не знаю и делать ли? Говорят, надо явку подавать…

И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде — как советовать? Пропало не моё, а его добро — чужую обиду легко прощать…

— Нет, — говорю, — я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилося.

Он говорит: пожалуйста, расскажите. Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилося.

Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжёлая. Так, бывало, плечи

отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку: идучи всё её с плеч спускать, и от того скоро обил в ней подол. Утром в Рождественский сочельник служанка говорит мне:

— Шуба подбилася: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть — очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру её назад принесёт.

Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнёс её рядом в дом, своему знакомому портнишке. А сочельник пришёл с оттепелью, капели капали: вечером мне шуба не понадобилась — в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил её, а на Рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение: дворник бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал… Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, всё нет как нет, и говорят, что и портного нет… Жена у него осталась с двумя детьми, — один лет трёх, а другой грудной… Бедность, говорят, ужасающая: и женщина, и дети страшные, ис-

питые, — жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понёс её, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается… Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли… Пропал портнишка, как в воду канул… Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе Великого поста прибегает ко мне дворник… весь впопыхах и лепечет скороговоркою: — Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел… подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свёл. Он там у сторожа… Сейчас разбор дела будет… скорее, пожалуйста… подтвердить надо… ваша шуба пропала. Я поехал… Смотрю, действительно сторож бережёт какого-то человека худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские — колесом изогнуты, и весь сам в отрёпочках, — починить некому и общий вид какой-то полумёртвый. Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила? Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи — определить не могу; может быть, на рынке за

неё и ста рублей не дали бы. Судья стал допрашивать портного — тот сразу же во всём повинился: «Я, — говорит, — её подшил и к дворнику понёс, чтобы отдать и деньги за работу получить… На грех дворника дома не было и дверь была заперта, а господина я не знал по фамилии, ни где живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошёл со двора, да и заложил закладчику шубу, а на взятые под залог деньги купил чайку-сахарцу, пивка-водочки, а потом утром испугался и убежал, и последние деньги пропил и с тех пор всё путался». А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может. — Виноват, пропала шуба. — А сколько, по-вашему, шуба стоила? Портной не стал вилять и говорит: — Шуба была хорошая. — Да сколько же именно она могла стоить? — Шуба ценная… — Сто рублей она могла, например, стоить? Портной себя превосходит в великодушии. — Больше, — говорит, — могла стоить. — И полтораста стоила? — Стоила. Словом — молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал: «по указу», и определил портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом, чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи

ожидать нечего. Я пошёл домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завыли в три голоса. Чего ещё надобно?

Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски называли «комчугою». Верно ей дано это название! Днём эта болезнь ещё и так и сяк — терпеть можно, а как ночь придёт, так она начинает «комчить», и нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то невесть что припоминается и представляется, и вот у меня из головы не идёт мой портнишка и его жена с детьми… Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и детьми-то что делается?.. И при нём-то им было худо, а теперь, небось, беде уж и меры нет… А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего мне никогда этот портнишка заплатить-то не может, да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только «сумой пахнуть»… Никогда я этого донимать не стану… А зачем же была эта явка-то подана? И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать: жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми её делается? Дворник узнал и говорит: «Её присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют: за

ними за угол набралось уже шесть рублей». — Вот те мне, и ахти мне! А «комчуга» ночью спать не даёт и в лица перекидается: задремишь от усталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам как по болвашке (Болвашка — деревянная портновская колодка, на которой разутюживают. — Прим. автора.) водить… И всё водит, всё разглаживает, да на суставах острым углом налегает…

И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей, не полегчает ли если уж не на теле, то хоть на совести, — потому, так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата. Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей… А сама вся в лохмотьях, и дети голые… Дал им ещё три рубля… А как ночь, так портнишка опять идёт с холодным утюгом… и зачем это я только наделал?.. Рассердишься и начинаешь думать: а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать? Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла… Портному ещё полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз, а к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию… Ну, по силам своим и увеличил, да

жена его о себе иначе понимать стала, и на меня недовольна и сердится: — Кормильца нашего, — говорит, — оковал: что я с детьми теперь сделаю. Ты нас убил — тебя Бог убьёт. И смешно, и досадно, и жалко, и совестно: несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее: а теперь если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей — корми воровскую семью, а то, где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты, небось, за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком… Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе всё противное… Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже чем чужую шубу снёс… И никак от этого не избавиться… И вот под самую Пасху все пошли к утрене, а я больной остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов… Старичок был небольшой, очень полный с совершенно белой головой, и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своею кончиною он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого

старика уважал и называл «праведником», а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас, бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет: он встаёт, и кресло на нём висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чём не тужил и про всё всегда говорил весело, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался: — Ну, так что ж! — А вы бы, Иван Иванович, жаловались. А он отвечает: — Вот тебе ещё что ж! — А помрёшь с голоду? — Ну, так что ж! — И схоронить будет некому. — Вот тебе ещё что ж! Говорили: он глуп. А он не был глуп: он пришёл к нам на Рождество и всё ел вареники и похваливал. — Точно, — говорит, — будто я тёпленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется. И так и не встал с кресла, а взял да и умер, и мы его схоронили. Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал! «В бесстрашной душе ведь Бог живёт». Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать: Пропала! — «Ну, так что ж»... А жаловаться? — «Вот тебе ещё что ж!» И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее.

Тут как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове. — Вот, — говорит, — и

я думал, так и я всё так и сделаю. Ничего я никому не подам: и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало и кончено: «Ну так что ж, да и вот тебе ещё что ж»? На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел, но потом досталось мне мучение: в один день довелось мне говорить об этом со многими и ото всех пришлось слышать против себя и против его всё несхожее. Все говорили мне: — Это вы глупо обдумали!.. Так только потачка всем… Вы забыли закон!.. Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило.

Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний новорождённый: наказать или помиловать? Если ты хочешь когда-нибудь «со Христом быть» — то ты это должен прямо решить и как решить — тому и должен следовать… Может быть, и тебя «под Рождество обидели» и ты это затаил на душе и собираешься отплатить?.. Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет… Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чём есть настоящее «первое правило»… Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай — с кем ты выбираешь быть: с закон-

никами ли разноглагольного закона, или с тем, который дал тебе «глаголы вечной жизни»... Подумай! Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден... Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе: «Прости обидчику и приобрети себе в нём брата своего». Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умён, — и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.

1890

Неразменный рубль
Рассказ
Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он всё-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять чёрную без одной отметины кошку и нести её продавать рождественскою ночью на перекрёсток четырёх дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Всё это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придёт кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, — ни больше ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но на-

до настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он всё-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в Рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счёт, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу

встретиться с дьяволом на далёком распутье и торговаться с ним за чёрную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники жёлтые, с патокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или ещё проще «шмотья», бывают орехи простые и калёные; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно

волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснёшься, бабушка принесёт тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщённый этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своём большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль, — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдём к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, — совершенно один, — можешь идти на ярмарку и покупать всё, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а

он опять очутится в твоём же кармане.

— Да, — говорю, — я уже всё это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, — его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведётся в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведёшь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я её уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — но, однако, ты всё-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня

в кармане.

— Очень рада — посмотрим. Но ты всё-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублём, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне советы, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах всё, что мне нужно.

— В таком разе идём. — И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придёт к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвёртая

Погода была хорошая, — умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнём и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль

и купил целую коробку свистулек, да ещё мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целёхонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти ещё раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и… мой неразменный рубль был в моём кармане.

— Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чём дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошёл к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по

маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, — мой неразменный рубль всё был на своём месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моём кармане.

— Невесте идёт принарядиться, — сказала бабушка, — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы её обрадовать, — от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному телёнку, который жил в одной избе со скотницею. Телёнок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная

старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для неё новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман — мой рубль был снова на своём месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал всё, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а весёлому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, всё был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал её выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умён, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время — откуда ни возьмись — ко мне подошёл самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить всё, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я её, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы всё покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоём, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да

я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нём нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было всё, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, — за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнём, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с её новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось всё это ужасно обидно, и я почувствовал

долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю, — отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: — Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, — вы не понимаете, в чём дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за

каждую нашитую на нём стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно, — отвечал я, — я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и… проснулся…

Глава восьмая

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в её большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что всё виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чём я плакал.

— Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, — особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаённый смысл. Неразменный рубль — по-моему, это талант, который Провидение даёт человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырёх дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чём для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Всё, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх тёплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог ещё сделать, владея безрасходным рублём, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже

хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и — рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим всё то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то… я тебя понимаю…

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце моё исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того ещё ни

одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своём нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдёт в словах моих не ложь, а истинную правду.

Жемчужное ожерелье
Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе — о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего всё это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — всё скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, — да и ямщик-то тебе попадёт подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А ещё как сердце не вытерпит, —

изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ — вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче всё это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в своё удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привёл в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.

— Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фанта-

стичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

— Ну, я не совсем с вами согласен, — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

— Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, всё-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и своё время и нравы.

— Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем всё бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а весёлое окончание.

— А что же? Я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

— О, будьте уверены, я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьёзно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки

одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, — хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну да постой же, — говорим, — всё это прекрасно и пусть будет по-твоему, — Господь тебя благослови, — женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у неё к себе расположение. На всё это надо время.

А он отвечает:

— Что же — времени довольно: две недели Святок венчаться нельзя, — вы меня в это время сосватайте, а на Крещенье вечерком мы обвенчаемся и уедем.

— Э, — говорю, — да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошёл от скуки. (Слова «психопат» тогда ещё не было у нас в употреблении.) Мне, — говорю, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что всё это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далёкая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена

говорит мне:

— У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там ещё много выбирать — жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

— Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

— Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

— Что это такое я уважал?

Безотчётные симпатии, влечения сердца.

— Ну, — говорю, — матушка, меня на это не подденешь. Всё это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это — что такое… в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имеешь против Машеньки? — она именно такая и есть, как ты говоришь, — девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

— Как! — воскликнул я, — так это ты уж и с её стороны успела заручиться признанием?

— Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь ведь — это по нашему женскому ведомству, — мы её замечаем и видим в самом зародыше.

— Вы, — говорю, — все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет — это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

— А я ничего, — говорит, — не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой — прекрасный человек и Маша — премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

— Как! — закричал я, себя не помня, — они уже и слово друг другу дали?

— Да, — отвечает жена, — это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, — он, наверно, понравится старикам, и потом…

— Что же, что потом?

— Потом — пускай как знают; ты только не мешайся.

— Хорошо, — говорю, — хорошо, — очень рад в

подобную глупость не мешаться.

— Глупости никакой не будет.

— Прекрасно.

— А будет всё очень хорошо: они будут счастливы!

— Очень рад! Только не мешает, — говорю, — моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

— Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева — все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

— Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец её, выдавая замуж двух старших её сестер, обоих зятьёв обманул и ничего не дал, — и Маше ничего не даст.

— Почём это знать? Он её больше всех любит.

— Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя — он на том стоит, и состоянию-то

своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и подавно оставит на бобах.

— То есть как это, — говорит, — на бобах?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нет, не дурачусь.

— Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, — вот и вся недолга.

— Ах, вот это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть может, но только я, — говорит, — никогда не думала, что по-твоему — получить путную жену, хотя бы и без приданого, — это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас — в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок…

— Я говорю вовсе не о себе…

— Нет, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère! [17]

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счёт не говорил.

— Ну, думал.

— Нет — совсем и не думал.

— Ну, воображал.

— Да нет же, чёрт возьми, ничего я не воображал!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу.

— И «черти»… «чёрт»… Что это такое?

— Да потому, что ты меня из терпения выводишь.

— Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое…

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав — как бог, окончил — как свинья». Я принял обиженный вид, — потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, — и, покачав головою, повернулся и пошёл к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодо-

---

[17] Примечания: 17
Милочка (фр.).

лимую жажду отмщения — снова отворил дверь и сказал:

— Это свинство!

А она отвечает:

— Mersi, мой милый муж.

Глава третья

Чёрт знает, что за сцена! И не забудьте — это после четырёх лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущённой супружеской жизни!.. Досадно, обидно — и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Всё это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи — в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы ещё брат брата должен был слушаться… Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с него, после четырёх лет счастливой, ни на

минуту ничем не смущённой жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой… И всё из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти…

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно её жалко, потому что я её слова уже считал ни во что, а за всё винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены…

Подкупающая это вещь — носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чём-то прощения.

— Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперёд не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю — в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Где же барыня?

— А они, — отвечает, — уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай

приготовлю.

«Какова! — думаю, — значит, она своего упорства не оставляет, — она таки хочет женить брата на Машеньке… Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьёв. Да даже ещё и более, потому что те сами жохи, а мой брат — воплощённая честность и деликатность. Тем лучше, — пусть он их надует — и брата и мою жену. Пусть она обожжётся на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превесёлые. Жена говорит мне:

— Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

— Нет, — говорю, — покорно благодарю.

— Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

— Вот как!

— Да — мы превесело провели время и шампанское пили.

— Счастливцы! — говорю, а сам думаю: «Значит,

эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за телёнок мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там женихов-ский рученец кончится, а потом — быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у неё прощенья в своей невин-ности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы — во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарём Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, под-носимыми Машеньке моим братом.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невесте, — объяснила мне

моя жена.

— Ага! так вот уже как! Поздравляю.

— Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив ещё раз с тобою, но он спешит со своей свадьбой, а ты, как назло, сидел всё в своём противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, — говорю, — незачем было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острю.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на всё твоё карканье, они будут пресчастливы.

— Конечно, — говорю, — уж если ты ручаешься, то будут… Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать — вернее.

— А что же, — отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, — ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь всё это вздор.

— Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

— Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал — именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

— И врёшь.

— Как вру?!

— Врёшь — потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебе понравилась.

— Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

— Нимало — достоинства во мне есть, а ты всё-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

— Однако же, — говорю, — я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

— Чтобы смотреть на меня.

— Неправда — я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

— Что за пустой смех!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

— Это почему?

— Сказать?

— Сделай милость, скажи!

— Потому, что ты был в меня влюблён.

— Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

— Мешало.

— Нет, не мешало.

— Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на неё смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.

— Ну… однако, — говорю, — ты уж это как-то… очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

— Полно думать, — худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату своё поздравление.

— Очень рад, — говорю. И поехали.

Глава четвёртая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились весёлым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обручённых, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этаком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, — и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на неё при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати ещё в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, — назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом всё крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три чёрные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать — мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесённое стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: её никогда ни тля не истлит, ни вор не украдёт, а если и украдёт, то не обрадуется. Это — вечное».

Но у женщин ведь на всё свои точки зрения, и

Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слёзы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

— Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я её сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в своё время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметисты avec flèches d'Amour [18], но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали…

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

— Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу

---

[18] Примечания: 18
Со стрелами любви (фр.).

рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод — d'eau douce [19], тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила perle d'eau douce, из шотландских рек, но он ей не принёс счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы её пугаете. За это я вам не подарю ничего avec flèches d'Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, моё дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слёзы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего…

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно весёлом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя

---

[19] Примечания: 19
Пресноводный (фр.).

и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошёл с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошёл такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днём, принесла мне не только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

— Что же такое ещё с тобою случилось?

— А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

— Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

— Это не моё дело.

Входим, а брат подаёт нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчёт жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.

— Вот, — говорит, — негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

— Ты неправа: старик поступил очень честно.

Я получил это письмо, прочёл его и рассмеялся… Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, — не всё ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива… Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, — говорит, — зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами… Это против всех обычаев… мило и дорого».

«Ну что, — отвечает, — за счёты! Мы свои. Я был у обедни, — помолился за вас и вот просвиру вам привёз».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо моё получил?» — спрашивает.

«Как же, — говорю, — получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, — говорит, — ты смеёшься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, — я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет — смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу — на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, — говорит, — что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до

меня не касается, и вас только буду об одном просить…»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так…»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь её огорчить?»

«Да — это между прочим».

«А ещё что?»

«А ещё то, что я не хочу, чтобы в её сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное — муж…»

«Никогда, — говорю, — сердце не заезжий двор: в нём тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу — другая, и кроме того… муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь её любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое моё время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я всё видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жён своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее — они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

— Неужели, — говорю, — всё это твоей жене?

— Нет, — отвечает, — он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, — это будет щекотливо… Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры её — нет… Это непременно вызовет у сестёр к ней зависть и неприязнь… Нет, Бог с ними, — оставьте у себя эти деньги и… когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите

всем поровну. И вот тогда это принесёт всем нам радость… А одним нам… не надо!»

Он опять встал, опять прошёлся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, — говорит, — тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и… надеюсь».

«Хорошо… Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сёстрам. Раздай им сама — скажи, что ты даришь…»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю — и он заплакал.

«Встань, встань! — говорит. — Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ — тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива… за сестёр!..»

«То-то и есть… И я счастлив!.. Теперь можешь

видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.

Я пришёл тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг — фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой — не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно — душа не стерпит!»

— Вот вам весь мой рассказ, — заключил собеседник, — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.

Впервые опубликовано — журнал «Новь», 1885

Ф. М. Достоевский

Мальчик у Христа на ёлке
I. Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед Рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьём, — значит, его всё же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то, наверно, их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевши-

ми руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жёны, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит ещё вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресёкшимся дыханием, упадёт чуть не без памяти на пол.

…и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал…

Когда он подрастёт, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но всё, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал.

Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят всё — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живёт, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

II. Мальчик у Христа на ёлке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю, наверно, что сочинил, но мне всё мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но ещё очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как

он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мёртво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашёл и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на

нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он ещё бы и раньше пошёл, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда ещё он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнётся — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мёрзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошёл блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят, наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух,

какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеётся, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, жёлтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошёл. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные

пальчики и придержать её. Выбежал мальчик и пошёл поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берёт его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зелёные платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и

присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдём ко мне на ёлку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это, он и не видал ещё таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеётся на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! —

кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова ёлка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёрзшего за дровами

мальчика; разыскали и его маму… Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да ещё писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там о ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

А. И. Куприн

Тапёр

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где её старшие сёстры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не моё дело… У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подмётывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там всё это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдём, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и ёлку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству ёлки. Не далее как на прошлое Рождество её в это время запирали с младшей сестрой Катей и с её сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой ёлки, а что «просто только пришли полотёры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую

суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих

кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая, задорная молодёжь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюблённости.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход

пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось ещё неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урождённая княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком «мескинно» [20] и «брютально» [21], и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела

---

[20] Примечания: 20
Пошло (от франц. mesquin).

[21] Примечания: 21
Грубо (от франц. brutal).

для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор ещё, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, и по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шёл интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживлённо. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение и

самому принять в нём участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады [22] дурного тона». Но молодёжь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное

---

[22] Примечания: 22
Проказы (от франц. escapade).

удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщён таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году [23] с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части,

---

[23] Примечания: 23

Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщённом автору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. (Прим. автора.)

оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день ёлки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нём…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука в свою очередь оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя

её и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай её Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать ёлки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие

семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали всё новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблёскивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша всё ещё не возвращалась, и подвижная как ртуть Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж и не придумаю, что делать. Придётся попросить тётю Соню поиграть немного… А потом

я её сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тётя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутывавший её голову.

— Только, барышня, не браните меня, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня Бог — в пяти местах была и ни одного тапёра не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли.

Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся «гнёздышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось…

играть на вечерах?

— Да… я играл, — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

— Ах нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible [24], — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

— Воображаю! — делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевёл глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

---

[24] Примечания: 24
Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (франц.).

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влёкшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на чёрном фоне неосвещённой гостиной, он спросил:

— Угодно вам «Rapsodie Hongroise» [25] № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперёд нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил её на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапёр, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

— Тапёр? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой

---

[25] Примечания: 25
«Венгерская рапсодия» (франц.).

мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

— Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы… как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были

поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумлённых, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ёлки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного её отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица,

короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и чёрные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело,

утомлённо и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошёл в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошёл вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чём-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли

Антоном Григорьевичем. Он играл поочерёдно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в

своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезёт Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

— Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понима-

ете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом ещё раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

1900

Ёлка в капельке

Хорошо вспоминается из детства рождественская ёлка: её тёмная зелень сквозь ослепительно-пёстрый свет, сверкание и блеск украшений, тёплое сияние парафиновых свечей и особенно — запахи. Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда ёлку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая её сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро её можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом: «Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнём, пахнет в воспоминании приятной копотью.

Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьёзно и молча, исподлобья, на игрушку ближайшего соседа.

У господского Димы — целый поезд, с вагонами

всех трёх классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки — деревянный конь: голова серая, в тёмных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри — раскалённые угли, а вместо туловища толстая палка. Оба мальчугана завидуют друг другу.

— Посмотри, Дима, — изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, — вот дырочка, а вот ключик. Заводить надо так: раз-раз-раз-раз… У-у! поехали, поехали!..

Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам, и вот пляшет на месте, горячится, ржёт ретивый конь, и вдруг галопом вкось, вкось!.. У Димы катастрофа: крушение поезда, вагоны падают набок, паровоз торчит вверх колёсами, а колеса ещё продолжают вертеться с лёгким шипением.

— Ах, Дима! Зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно?..

— Не хочу паровоза, хочу Васькину вошадь! Отдайте ему паровоз, а мне вошадь! Хочу вошадь!

Но гордый Васька гарцует, молодецки избоченившись на коне, и небрежно кидает:

— Ишь ты какой! Захотел тоже!..

Что говорить, волшебна, упоительна ёлка.

Именно упоительна, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щёки у них кумачово-красны.

Но много, ах как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются: какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот ещё дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом. Сел на пол, под ёлкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные.

В. В. Розанов

В сочельник

Праздник приносит людям радость; но и у людей есть долг чем-то ответить празднику, чем-то порадовать его. Порадовать Бога, Который дал им праздник.

Но нам нынешний год нечем ответить празднику Рождества Христова. В морозное позднее утро 25 декабря солнце взойдёт в красной, как кровь, заре… И всегда её видели, и всегда ей радовались. Приливая к сердцу, разливаясь по телу, кровь живит его всё. Весело нам, и кровь обращается живее. Кровь — источник всего в человеке, корень всего. Корень самой души, мыслей. У Тургенева в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» старик произносит о крови вещие, древние слова: «Кровь не может видеть солнышка; как увидит, — умрёт (по-учёному — «свёртывается»). Поэтому грех открывать кровь» (показывать ей солнышко, выводить её на солнце, наружу из жил). Слова эти потому мы назвали «древними», что во всей древности, до христианства, кровь почиталась священною. Её как-то боялись, почти как умного, мудрого существа; обходились с нею бережно. При жертвоприношениях её собирали

в священные храмовые сосуды и кропили ею или помазывали ею самые священные предметы, как мы кропим их «святою водою» или помазываем их «священным елеем» (миром). Все эти подробности древних ритуалов, виденные тогдашними «верующими» каждый день, сообщали им трепет, страх перед кровью. Всем было «страшно открыть кровь», как тому дедушке тургеневского рассказа, который своё ведение и своё слово вынес из тьмы веков, из языческих ещё верований славянства, сохранившихся по глухим, лесистым и пустынным местам русской земли.

И Дева Мария, родив Спасителя мира, принесла, по обычаю и по закону древних евреев, двух горлинок, или голубок, Господу в жертву.

Кровавый цвет рождественской зари поэтому есть добрый цвет, напоминающий людям об источнике жизни на всей земле. «Мы Кровь любим, бережём и радуемся, увидев в небесах её цвет». И никто зимних кровавых, красных зорь не боялся. Но встречал их весело, во все дни декабря и в рождественское утро.

Если бы не согрешили мы перед кровью, и мы встретили бы весело, сияюще рождественскую зарю. И сказали бы утренней — «здравствуй», а вечерней — «прощай».

Но опустятся глаза наши в это утро и вечер. Не смеем мы посмотреть на небо, на зарю. Согрешили мы перед ними. Цвет их приведёт в голову не весёлые, а печальные мысли. Страшные, тягостные воспоминания.

Согрешили мы. Все согрешили. И нечем нам встретить праздник.

* * *

Это — любимый день детей и женщин. Любимый день семьи. Но далеко мы от них. Точно мы, бросив жену, детей, семью, куда-то от них ушли и заблудились. Это не физически, не географически, а духовно, в мыслях.

Где мы?

Право, если бы не школа и необходимость покупать по осени учебники, если бы не статьи в журналах и газетах о «школьном вопросе», — никто бы и не догадался, что мы живём с детьми, что при нас есть дети, что от нас рождаются дети! До такой степени духовный наш мир далёк от них, пуст от них, забыл о них. Самое «Рождество Христово» мы проводить не умеем, разучились: нервно, торопливо, озабоченно мы входим в детскую комнату, подходим к зажжённой ёлке или смотрим на зажжённую в зале парадную,

нарядную ёлку. Но в душе нам не до неё; мы с нею скучаем втайне. И вот, едва загасили на ней свечи и минуло семь дней, — мы выталкиваем её в сени, в кухню, к дворникам и равнодушно смотрим из окна делового кабинета, как он рубит её на прутья для подтопки плиты.

«Детская забава! Нам не до неё!!»

Ах, если б нам было «до неё», если б в душу нашу не вошёл официально и на час, а впорхнул в неё, как птичка, и прочно уселся там «детский праздник», «женин праздник», — было бы на земле несравненно веселее и счастливее; и, говорим совершенно серьёзно, «полигические перемены», происшедшие от разлияния на нашу психику и на нашу жизнь детского веселья, детской чистоты, детской невинности, — были бы неисчислимы и поистине равнялись бы самому громадному социальному перевороту! Такому, что и измерить его величины нельзя…

И, прежде всего, ближе всего, — мы не опустили бы совестливо и мучительно глаза перед рождественской зарёй. «Кровь в небе! Как в нас! И мы любим её там, как любим у себя. И бережём»… С испугом Касьяна с Красивой Мечи мы не «открыли» бы её, не дали ей взглянуть на солнце и умереть. Вот первый результат настоящего «дет-

ского праздника», разлитого на весь год, конечно, не в безделье своём, а в весёлости своей, в оживлении, в чистоте и невинности. Мы не «открыли» бы кровь и не взывали, как Каин:

«Теперь каждый, кто увидит меня, — убьёт меня».

Ужасный страх, ужасное томление… Ужасное бегство. Да, бегство. Взгляните: люди бегут друг от друга, прячутся один от другого. «Не доверяй другу: другу-то именно и не доверяй. Лучше к чужому пойди»… Эта ужасная мысль мелькает в воздухе, и, подождите, она разольётся, да уже и разливается в определённых кругах людей, как «погода», как «климат». Ещё несколько этапов по этой дороге, и станет невозможно жить; все человеческие сношения невероятно затруднятся.

Ведь, убитым, первым убитым на земле был брат, родственник, «свой человек». Рука поднялась впервые вовсе не на чужого, не на врага природного, от рождения и по положению. «Чужой мне не мешает, но вот свой человек, ближний — мне не даёт жить, и я задыхаюсь там, где дышит он».

Ужасно! Ужасная истина, записанная на первых страницах Библии.

* * *

Всё от грехопадения… Всё от греха… А греха больше там, где мало детей. Где их вовсе нет, — невольно рождается чудовищный грех.

Пришла железная «государственность»; пришёл железный «социальный строй». Там и здесь детям стало неуютно. Там и тут детей просто некуда деть… В единственной русской социальной утопии, романе «Что делать», проектировано, что дети будут общие, как и жёны до некоторой степени общие… Но это — не идиллия, и построено так не по какой-нибудь нежности к детям и матери, чего в романе не заметно, а потому, что собственно детям и матери не нашлось места, своего и самостоятельного места; и когда от них все «будущие граждане-работники» оттолкнулись, то они и сделались естественно «общие» и «ничьи». Как «ничьи» дети в воспитательном доме, или как гимназисты в прежней толстовской гимназии, отстранившейся как можно дальше от семьи и не подпускавшей семью к себе. «Ну, их»… — девиз Чернышевского и Толстого (Д. А.).

Мы упомянули о казённых заведениях, особенно прежнего типа. «Пришла железная государственность» — и вывела детей из семьи, из

родного дома, построив для них полудворцы, полуказармы. Похолодела семья, и государство не согрелось. «Пришествие государства», вообще, сопровождалось похолоданием всех вещей, всех отношений, самого человека. «Горлинок» стало некому и не для чего приносить. Кстати: Христос родился в Вифлееме, в стране уже завоёванной, без политичности, без государственности… Была жизнь; был быт; были нравы и богослужение… А государства и его вездесущего сопутствия — чиновника — не было.

И там Христос родился.

В «железной государственности» Его не могло родиться… Не тот воздух. Воздух жёсткий, холодный. Неприятно дышать, никому не приятно. Святые жены Евангелия задохнулись бы в нём. И Симеон, и Анна умерли бы в мизантропии не только не дождавшись, но и не желая дожидаться «чудного рождения»… Перестав надеяться на него, перестав верить в него.

«Горлинки», голубки Евангелия, не уместны там, невозможны, где застучало железо о железо, топор о топор и нож о нож. «Горлинки» отменились, — по любопытному мотиву: «жалко проливать их кровь»; и сейчас же вскрылись жилы человека, и стал человек «показывать

солнцу кровь», — по пугливому выражению Касьяна с Красивой Мечи. Настал грех. Жертвы из «горлинок» отменились: настали человеческие жертвы.

И потемнела кровь в человеке. Самая кровь сделалась грешною. Такою она сделалась от греха, но потом уже сама начала изводить из себя грех. Каин имел тёмную кровь, Авель имел светлую кровь. Все мысли наши рождаются из крови.

И стал человек с тёмною кровью убивать.

И ещё он стал испуган, что «и меня убьют».

И от испуга ещё расширял круг убийства.

И завертелись колёса, рычаги страшной машины… социальной машины. Колёсико цепляет за колёсико и поворачивает его. Все испуганы, кричат: «Не надо крови». Но крови всё больше. Уже не могут остановить, остановиться.

Она течёт снизу, сверху. И каждый раз слышится оправдание. «Это не мы убиваем: но оттого, что нас убивают, — и мы убиваем». Но не в том, как оправдываются, заключена суть, а в том, что есть дело, в котором надо оправдаться.

* * *

В детстве, в лесном костромском крае, мы олицетворяли «Рождество Христово»… Праздник

был для нас, детей, не день, а «кто-то», кто к нам приходил… Мы ждали «Рождество» к себе на стол, в комнатку. Самого дня я не помню, как он проводился. Кажется, обыкновенно. Но помню ярко и глубоко канун его, «сочельник», и именно его вечерние часы, от 3–4 дня до 8–9, когда нас уже отправляли спать, да и сами мы засыпали с счастливою мыслью: «Теперь уже кончен пост, и мы проснёмся завтра в праздник Рождества», в «совсем другое».

В сочельник же, сидя на лавочках и поджав ноги, мы большой детской семьёй соображали, «где теперь Рождество», то есть насколько оно ещё не приблизилось, не подошло к нам, и насколько уже подошло. За стенами трещал мороз; страшно было выглянуть в стужу, одежонка у всех была плохая. И вот ещё двенадцать часов дня, два часа, даже три часа всё разумно и скучно, всё понятно и неинтересно. Но уже с четвертого часа, когда начинало вечереть, всё становилось — и с каждым получасом больше — таинственным, немного страшным и восхитительным. Мамаша уторопляла приготовления, но мы на мамашу не смотрели. Мы ждали «Рождество»…

— Теперь уже оно подходит к нашему саду…

— Дошло до забора?

— До забора ещё не дошло. Но близко…

«Оно» идет с молочком. Тем «молочком», какого нам не давали во весь длинный пост. Идет «Праздник» медленно, именно, как текут часы; и от этой медленности он не стоит на месте, а всё «около» движется, то поднимется на берёзку, то сойдёт с неё, идёт по садовой дорожке, но вдруг остановится, задержится. «Потому что ещё всего семь часов, и он не может войти в сени». На душе хорошо. И с каждой четвертью часа таинственнее и лучше.

— Ты, Верочка, с утра не ела?

— Не ела.

— Какая ты счастливая. А я не удержался и съел ломоть хлеба; хотел только пол-ломтя, но съел весь.

— Нехорошо. Это тебя злой дух соблазнил. Когда до звезды человек ест, то Рождество плачет. И неохотно идёт в тот дом. А в каких дурных домах все едят, туда Рождество и совсем не приходит. Тем людям нет праздника.

— Оно с молоком?

— Да. И с гостинцами.

— Это хорошо. Но само оно лучше всех гостинцев. Не потому хорош Праздник, что несёт гостинцы, а потому гостинцы хороши, что их

несёт Праздник. Сам же он лучше всех, и для него наряжается церковь и вся земля, мамаша наденет лучшее платье, и священник наденет белые ризы.

— А мы?

— И нам всё починили к празднику. Из старенького. В праздник всё зашито, дыр нет и всё нарядно.

— Всё это хорошо. Молчим. Долго.

— А почему «до звезды» не едят?

— А потому, что это исстари.

— Ужасно есть хочется. Даже хоть бы выпить.

— Воды можно. Но квасу нельзя. Квас питает.

— Как трудно дожидаться.

— Тем лучше. Празднику в радость. Праздник строго войдёт в дом, и его встретить надо строго, торжественно. И чем строже, тем всё будет счастливее. Потом.

— Как всё устроено!

— Исстари.

И вот «звезда», и мамаша торопливо ставит на стол глиняное блюдо, где почти в пустой воде плавает немножко резаного картофеля. Всё с жадностью съедается.

— Теперь Рождество совсем близко, уже подошло из сада ко двору и скоро войдёт во двор.

Почему-то «его» никогда не представляли идущим с улицы, с фасада, с переда. Оно всегда кралось «с задов», со «своего, домашнего места», через сад, двор и заднюю лестницу.

— Теперь молитесь Богу и ложитесь спать. Скорее…

Тон мамаши ещё утороплённее и не терпит возражений, ни непослушания. Мы живо снимаем сапоги и всё, что полагается. Спали на полу. На войлоке. Все вместе. Уже сидим на нём. Глаза слипаются.

— Теперь, я думаю, «оно» вошло в сени.

— Или близко к сеням. У косяка.

— И завтра проснёмся, — оно будет на столе?

— Да. Но теперь «оно» смотрит на нас и ждёт, когда мы заснём. Мы «его» не видим, но «оно» нас видит. «Оно» ждёт, когда мы заснём. И все заснут, и мама. И тогда «оно» потихоньку войдёт в дом, никем не видимое. И всё сделается тогда радостное. Но Рождество не любит, чтобы его видели и чтобы на него смотрели.

И сонные головки, с обрывками золотых ожиданий, одна за другой укладывались в розовые ситцевые подушки.

«Завтра и молоко! И масло в барашке с золотыми рожками. И обедня. И всё нарядное. Скорей

бы завтра».

В. А. Никифоров-Волгин

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стёклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде весёлой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесёшь из школы плохие отметки, то ёлки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я её на пятерку исправлю… За арихметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — её тоже на пятёрку исправлю…»

Когда всё это я сообразил, то сказал родителям:

— Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнёт, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусём пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и ещё пуще рассердился.

Рождество подходило всё ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались ёлочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каёмками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но всё же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и

обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в березах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вёз на санках ёлку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило весёлым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошёлся

по базару, где торговали ёлками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого, — одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлёту в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришёл домой и увидел под иконами маленькую ёлку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом всё громче да громче: «Дева днесь пресущественного рождает», и вместо «волсви со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют».

Отец, послушав моё пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:

— Наверное, шёл тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олётывал в такую зябь!

И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всём новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звёзд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашёл её. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, — отовсюду идёт сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепётывающий, — в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду… Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Её завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдёт нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала ещё тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью, воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

— Услышите до последних земли, яко с нами Бог, — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. — Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог…

Живущий во стране и сени смертней свет возсияет на Вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог… И мира Его нет предела, — яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твоё, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) ёлку от лампадного огня. Ёлка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришёл однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную ёлку и сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под ёлку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твоё, Хри-

сте Боже наш».

В этот усветлённый вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы её шли волки на задних лапах и у каждого из них было по звезде, все они пели «Рождество Твоё, Христе Боже наш».

М. М. Зощенко

Ёлка

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку.

А моей сестрёнке Лёле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:

— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские

яблочки.

Моя сестрёнка Лёля говорит:

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:

— Лёля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока.

Лёля говорит:

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.

А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко.

Я говорю:

— Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко.

И я снова беру руками это яблочко и снова его

немножко откусываю.

Лёля говорит:

— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:

— А я, Лёлища, как поставлю к ёлке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату.

Лёля говорит:

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке,

открыла дверь и сказала:

— Все входите.

И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.

Наша мама говорит:

— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Лёля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал:

— Это меня Лёлька научила.

Мама говорит:

— Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально

стал с ним играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.

И я сказал:

— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.

И та мама удивилась моим словам и сказала:

— Наверное, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:

— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапиву садиться.

И тогда ещё одна, третья мама, сказала:

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестрёнка Лёля закричала:

— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой

мне останется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.

И тогда все гости стали уходить.

И наша мама удивилась, что мы остались одни.

Но вдруг в комнату вошёл наш папа.

Он сказал:

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. Потом сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.

Святочная история

Нынче святочных рассказов никто не пишет. Главная причина — ничего такого святочного в жизни не осталось.

Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания.

Покойники, впрочем, остались. Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать.

Эта истинная быль случилась перед Рождеством. В сентябре месяце.

Поведал мне об этой истории один врач по внутренним и детским болезням.

Был этот врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он поседел или вообще поседел — неизвестно. Только действительно был он седой, и голос у него был сильный и надломленный.

То же и насчёт голоса. Неизвестно, на чём голос он пропил. На факте или вообще.

Но дело не в этом.

А сидит раз этот врач в своём кабинете и думает: «Пациент-то, думает, нынче нестоющий пошёл. То есть каждый норовит по страхкарточке

лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку».

И вдруг звонок.

Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него всё время останавливается, и вообще чувствует он, что помрёт вскоре после этого визита.

Осмотрел врач больного — ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И всё на месте.

Прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит семь гривен, покачал головой. На том они и расстались.

На другой день в это же время приходит к врачу старушонка в чёрном платке. Поминутно сморкается и плачет. Говорит:

— Давеча, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти?

Врач говорит:

— Очень, говорит, удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу — надо мне увидеть покойника.

Старушка говорит:

— Очень великолепно, идёмте за мной. Тут недалече.

Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой.

И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном попахивает. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка где-то жалобно хрюкает.

И так врачу стало на душе скучно и противно.

«Экий я, думает, старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за семь гривен».

Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел.

Вышел. Дошёл до ворот. И вдруг вспомнил: мать честная, калоши позабыл.

«Экая, думает, непёрка за семь гривен. Придётся опять наверх ползти».

Поднимается он вновь по лестнице. Входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит: сидит покойник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чём-то препирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послюнит палец и гасит.

Очень удивился этому врач, хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался и как был без калош — кинулся прочь.

Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию.

А на другой день милиция выяснила всю эту историю.

Оказалось: агент по сбору объявлений, Василий Митрофанович Леденцов, присвоил три тысячи казённых денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь.

Одначе не пришлось.

Калоши врачу вернули к Рождеству, в самый сочельник.

А. П. Чехов

Мальчики

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, боже мой!

Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тётка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный

чёрный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошёл, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился ещё один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто? — спросила шёпотом мать.

— Ах! — спохватился Володя. — Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привёз его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои

чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и Рождество! — говорил нараспев отец, крутя из тёмно-рыжего табаку папиросу. — А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идёт быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придёт. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нём не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и учёный человек. Он о чём-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь,

то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для ёлки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорблённого человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чём-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь… — тихо говорил Чечевицын… — оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного

с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потёр правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн-Рида?

— Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щёки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он ещё раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут. — Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: — А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чём-то, — всё это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придётся пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».

— Ты смотри же, не говори маме, — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать.

— Володя привезёт нам из Америки золота и

слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестёр. Катя и Соня понимали, в чём тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын.

— Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя. — Как же я

поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын. — И без тебя обойдусь. А ещё тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сёстры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — ещё раз спросил Чечевицын.

— По… поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был ге-

рой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и всё спрашивали, где продаётся порох). Володя, как вошёл в переднюю, так

и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повёл Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве это так можно? — убеждал папаша.

— Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо Ястребиный Коготь».

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живарёвых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка

лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг,

заливается весёлым смехом и кричит: — Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом… Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда

ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…» Ванька покривил рот, потер своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею. А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие

на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки». Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может чтоб не крикнуть:

— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами

и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай». Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу… Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что пись-

ма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель… Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…

Ёлка

Высокая, вечнозелёная ёлка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг ёлки толпятся взрослые дети. Судьба раздаёт им подарки…

— Дети, кто из вас желает богатую купчиху? — спрашивает она, снимая с ветки краснощёкую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами… — Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

— Мне! Мне! — протягиваются за купчихой сотни рук. — Мне купчиху!

— Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь… Все будете удовлетворены… Купчиху пусть возьмёт себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что… Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы

три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч… Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее… Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

— Я бы взял, да кормить нечем! — слышится из угла голос поэта.

— Так никто не хочет?

— Пожалуй, давайте я возьму… Так и быть уж… — говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. — Пожалуй…

— Носовой платок Зориной! Кто хочет?

— Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!

— Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч. … Кто хочет?

— Я-с! — говорит букинист Свинопасов. — Пажалте-с!

Свинопасов берёт библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную

книгу для холостяков»… остальное же бросает на пол…

— Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех…

— Давайте мне… — говорит содержатель музея Винклер. — Пригодится…

— Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае далее… Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику… В конце концов ёлка обирается, и публика расходится… Около ёлки остаётся один только сотрудник юмористических журналов…

— Мне же что? — спрашивает он судьбу. — Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

— Всё разобрали, ничего не осталось… Остался, впрочем, один кукиш с маслом… Хочешь?

— Не нужно… Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом… Кассы некоторых московских редакций полнёхоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее?

— Возьми эти рамки…

— У меня они уже есть…

— Вот уздечка, вожжи… Вот красный крест, если хочешь… Зубная боль… Ежовые рукавицы…

Месяц тюрьмы за диффамации…

— Всё это у меня уже есть…

— Оловянный солдатик, ежели хочешь… Карта Севера…

Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на ёлку будущего года…

1884

В. А. Никифоров-Волгин

Заутреня Святителей (Под Новый год)

Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Стелется позёмка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.

Николай Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти. Серафим Саровский в белой ватной свитке, идёт сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку… Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме.

— Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый! — весело приговаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьёт мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай, шуршат валенки.

— Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать… Такой неугомонный, утиши его, Господи,

такой неугомонный! — смеётся Серафим и тоже бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Николы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке.

— Это что ещё! — тихо улыбается Сергий. — А вот в лето 1347, вот морозно было. Ужасти…

— Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, — говорит Серафим.

— Не заблудимся, отцы! — добро отвечает Никола. — Я все дороги русские знаю. Скоро дойдём до леса Китежского, а там, в церковке, Господь сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!..

— Резвый угодник! — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. — Старательный! Сам из других краёв, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемнённый, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него усердно?

— За что полюбил? — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. — Дитя она — Русь!.. Цвет тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня… дитя Его любимое… Неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь — это кроткая дума Господня.

— Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, — тихо прошептал Серафим. — На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!

— А как же, отцы святые, — робко спросил Сергий, — годы крови 1917, 1918 и 1919? Почто русский народ кровью себя обагрил?

— Покается! — убеждённо ответил Николай Угодник.

— Спасётся! — твёрдо сказал Серафим.

— Будем молиться! — прошептал Сергий.

Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед тёмными образами свечи и стали слушать заутреню. За стенами церкви гудел снежный Китежский лес.

Пела вьюга.

Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси — любови Спасовой, кроткой думе Господней.

А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.



Спасибо за выбор нашего издательства!

Поделитесь мнением о только что прочитанной книге.